

18+

алексей пицулин

ПРОСТАК  
НА ФОНЕ НЕБА

Алексей Пищулин

**Простак на фоне неба**

«Издательские решения»

**Пищулин А. Ю.**

Простак на фоне неба / А. Ю. Пищулин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-649151-9

«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» — вокруг этого отчаянного вопроса так или иначе крутятся все тексты и все сюжеты, объединённые под обложкой данного сборника. С изумлением вспоминая пережитое, фантазируя, пытаюсь по возможности мыслить здраво, автор не желал бы никого смутить и переубедить: в конце концов, это просто ещё несколько стрел, выпущенных вверх, наугад.

ISBN 978-5-00-649151-9

© Пищулин А. Ю.  
© Издательские решения

## Содержание

ЛИЦОМ К ЛИЦУ	6
Лицом к лицу	6
Аще забуду тебе...	8
Валаам	10
Крыша	13
Несносный	15
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# **Простак на фоне неба**

**Алексей Юрьевич Пищулин**

© Алексей Юрьевич Пищулин, 2024

ISBN 978-5-0064-9151-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ЛИЦОМ К ЛИЦУ

### Лицом к лицу

После ноябрьских праздников грязь наконец замерзала, и лужи к утру покрывались хрупким стеклом. Повернувшись спиной к прожитому лету, сгорбившись, как старик, я уходил в тоннель второй школьной четверти, утешаясь одними воспоминаниями. Но за снежными барханами декабря с его ранним тусклым электричеством и свинцовым недосыпом светился новогодними лампочками оазис зимних каникул. Это было одним из главных чудес моего детства: в последние дни года родители, как сказочные злодеи, увозили меня в тёмный лес, в еловые заросли.

Сначала надо было долго, больше часа, ехать в звонкой от мороза электричке с занавешенными инеем окнами, потом – на кособоком пригородном автобусе, вместе с рыбаками, укутанными в тулупы и замотанными до самых глаз. Они безликими кулями сидели на своих чёрных сундуках с ляжками, ещё по-городскому злые и трезвые, и начинали шевелиться и озираться, лишь когда между штакетника голых стволов открывалось белое блюдо замёрзшего озера.

И я тоже приходил в волнение от его огромности и немоты, от синих туч, сливавшихся с лесом на его дальнем краю; от предстоящих первых скрипучих шагов по скованной льдом невидимой толще воды.

От остановки к остановке автобус пустел: каждый мужик, вздев на плечо свой рыбацкий ящик, выходил у прикормленного места, у своей лунки. И немногие тётки с хозяйственными сумками тоже, вздыхая, протискивались сквозь гармошку не до конца раскрытых дверей (механизм замерзал, резиновые перепонки еле двигались) и, оскальзываясь, направлялись по узким тропкам к утонувшим в снегу домам – топтать ногами на пороге, обметать сапоги веником, вылезать из ста слоёв тряпья, выкладывать на клеёнку нехитрую снедь, греметь закопчёнными кастрюлями, варить на плитках вечные макароны.

Важно было не пропустить остановку, которую мы каждый раз умудрялись за год забыть. Я, как дозорный, воплем приветствовал красный кирпичный забор, и мы пробирались к выходу, прощались с водителем, выгружали сумки и рюкзаки, после чего окончательно опустевший автобус, повеселев, вприпрыжку скрывался за поворотом.

Двухэтажный казённый дом со стеклянной пристройкой столовой был предназначен для работы художников, но на время каникул отдавался на разорение родителям с детьми, лыжникам, весельчакам и пьяницам; он оживал, свистел, как закипающий чайник, звонкими детскими голосами и смехом, он выдыхал на лёд озера большие и маленькие компании, которые кидали друг в друга снежками, хохотали и даже пели; мальчики роняли девочек в сугробы и следом сами с замиранием сердца дерзко валились на них...

Если бы можно было математически оценить объём счастья, ежегодно вскипавшего под этой железной крышей! Со всех сторон, как забором, оно было окружено несчастьем и нищетой. А соединившись, сплавившись, как орёл с решкой, счастье с несчастьем превращались в золотую монету нашей единственной, несносной, жестокой, лучшей в мире родины. В бездне космоса сменяли друг друга космонавты, в сумасшедших домах томились диссиденты, и зловещие старики собирались в Кремле и в бане на свои сходки – решать судьбы мира и ограбленной, оболваненной страны... Но здесь, за липкими белыми столами, трижды в день кормили невкусным столовским кормом краснощёких художников и членов их семей, а потом они брали на прокат валенки и лыжи и выходили на лёд, чтобы полной грудью вдохнуть вольный промороженный воздух.

А вечерами в тесно забитых комнатках (родители – на продавленной двуспальной кровати, дети – на раскладушках, мокрые валенки – на батарее) оранжевым глазом светились обогреватели, похожие на нынешние спутниковые тарелки: в вогнутом зеркале накалённая огненная спираль (ах, как пожароопасно! но кто обращал внимание на такие пустяки) растягивалась и сжималась, если двигать голову; за двойным стеклом – тихо-тихо, беззвучно шевелили пальцами чёрные лапы столетних ёлок, и ещё тише лежало за ними озеро, продырявленное, как блин на Масленицу, винтовыми бурами рыбаков.

Обычно мы отправлялись в дальние походы втроём, но в тот день родители почему-то отпустили меня одного. В надувном скафандре нелепого лыжного костюма я встал в начале лыжни, уводившей от крыльца дома в матовую неопределённость, туда, где край озера становился небом. Пристегнув крепления, натянув на озябшие красные руки перчатки, я оттолкнулся от прочного берега и хлёстко погнал вперёд, по ледяной, присыпанной снегом линзе, над сонными озёрными рыбами, над камнями и травами, спящими в глубине. Минут десять-пятнадцать я бежал так, как будто за мной гнались, потом перешёл на неспешный широкий шаг, наслаждаясь свистящим звуком из-под лыж в ватной тишине мира. Я отошёл достаточно далеко, чтобы сзади, так же, как впереди, опустилась завеса снегопада, равно скрывая от меня прошлое и будущее. Я был внутри стеклянного яйца с падающим игрушечным снегом (спасибо Юхану Боргену за этот не поддающийся улучшению образ). Едва обозначалось прямо над моей макушкой опаловое темя небес, разливая внутри куполообразной сферы ровный, идущий сразу отовсюду молочный свет. И беззвучие уплотнялось, словно слой за слоем марли опускались между мной и обитаемым миром, миром людей.

И всё-таки кто-то был рядом со мной, внутри стеклянного яйца; я чувствовал пристальный взгляд и одушевлённое присутствие, столь громкое, что оно заставило меня остановиться... Наступила тишина, столь же совершенная и неземная, как отсутствие предметов и форм в девственно-белом пространстве вокруг. Тихо оседал, раскисая, снег на чёрном резиновом кольце лыжной палки, и немного мёрзли ноги в тонких спортивных ботинках; и коварно, неслышно засыпало свежесмолотой мукой лыжню за моей спиной – дорогу обратно, к дому.

Тот, Кто задумал и создал меня таким, каков я есть, выманил меня на это первое свидание и поставил перед Собой, чтобы рассмотреть хорошенько в бестеневом свете зимнего дня. Я боялся оглянуться, настолько властным было чувство, что увижу Его лицом к лицу. Я лишь закрыл глаза и постарался стать таким же беззвучным и чистым, как стерильная обстановка нашей встречи. Просто стоял и дышал, и серебряный свет беспрепятственно проходил через мои опущенные веки, как будто их не было.

А потом Он меня отпустил, и я расслабился, как ученик, отпущенный с урока, и полетел назад, без труда находя белую на белом бельевую складку лыжни... И ввалился в комнату, где отец, читавший матери вслух, поднял удивлённые глаза за толстыми стёклами очков; и едва дождался обеда; а после отправился на поиски курчавой девушки, всецело занимавшей мои мысли. Но внутри меня поселилось отныне одно тёплое и утешительное чувство, навсегда заслонившее меня от страха смерти, уполовинившее тяготу пожизненного одиночества, наградившее бедный разум единственным знанием, в котором никак нельзя усомниться. Ведь мне никогда больше не понадобятся доказательства Его бытия – после того, как однажды Он соблаговолил Своим снежным дыханием взъерошить волосы на моём стриженном затылке.

## Аще забуду тебе...

В центре одного древнего восточного города есть маленькая, застроенная со всех четырёх сторон площадь. Взгляд впервые попавшего сюда человека сразу окунается в тёмный проём открытой внутрь тяжёлой двустворчатой двери. Тот, кто шагнёт со света в её темноту, не вернётся назад: он уже никогда не будет таким, как прежде.

Войдя, можно так и остаться стоять, прижав руки к груди; а можно, сдерживая бешеную колотушку сердца, двинуться по кругу направо. В одной из первых алтарных ниш увидим за стеклом обломок камня, на который резвящиеся идиоты когда-то посадили Человека, чтобы воздать Ему издевательские почести: увенчать терновым венцом и набросить на плечи кусок материи кровавого цвета...

Над этой невысокой и сильно изъеденной временем полуколонной положена, как столешница, толстая мраморная плита престола с надписью по торцу. Говорят, если приложить к ней ухо, услышишь то, что происходило на этом самом месте две тысячи лет назад. Я так и сделал: лёг ухом на ледяной белый мрамор и закрыл глаза... А когда открыл, прямо перед собой увидел глаза ребёнка, смотрящие куда-то мимо меня. Так мы и лежали, каждый на своём ухе, почти не видя друг друга и прислушиваясь к тому, что происходило в толще времени, в толще этого камня, и вообще всех камней и скал этого города с громким, всем известным именем.

Не хочу обидеть наших двоюродных родственников, католиков, но ничего нет в этом городе «католического» – сентиментального, изящного, претенциозного, способного дать пищу для размышлений эстету или моралисту. Вместе со своим благословением и проклятием он достался нам в наследство от предыдущей цивилизации, которая не ведала сочувствия, не дорожила человеческой жизнью, не почитала материнства, не надеялась на вечную жизнь. Однако то, что некогда находилось за его стенами, оказалось центром всемирного притяжения, главою угла. Из колючего камня сложенный холм со страшным именем стал точкой, где разрешился тысячелетний узел поисков и страданий. Под весом вселенского катаклизма тело холма треснуло от вершины до самого основания, и эту каменную язву можно видеть и осознать сегодня, недоверчивый Фома даже может вложить в неё руку... Говорят, однажды трещина вновь оживёт и расколется землю пополам.

Но самого холма не увидеть: он укрыт, как в гигантском ларце, внутри постройки, объединившей десяток церквей (во всех смыслах этого слова – и религиозных организаций, и богослужебных сооружений). Каждый приходит сюда со знаками своей веры, такими различными, но с одной кричащей дырой в сердце и с одним Именем, которое под сводами Храма страшно произнести вслух...

И то, что было до последней запятой известной, тысячи раз воспроизведённой в воображении историей, здесь приобретает выпуклость и зримость почти невыносимую. Прикасаясь к месту действия, обжигаешь не только ладони, но и душу – до кровавых волдырей. А главное – ничего не прошло и не притупилось, всё как тогда: и толпа, жаждущая знамений, и религиозная нетерпимость, и древние пророчества, вьёвшиеся в камень. Царственный город по-прежнему ждёт своего Царя – и ожидание всё так же чревато смертью.

В теснине крытой торговой улочки, по которой Его вели убивать, даже сегодня становится не по себе европейцу, одетому в бронезилет полицейской безопасности, с загранпаспортом и обратным билетом в кармане... Низкие, покрытые вековой грязью своды давят на плечи. В глаза требовательно и неотступно заглядывают горячими восточными глазами жадные и нетерпеливые продавцы разной туристической дряни... Нетрудно представить, как чувствовал себя в этой недоброй толчее полуголый смертник, приговорённый к ужасной казни и тем самым поставленный вне любых проявлений жалости и милосердия! Среди смуглых лиц торгашей и карманников то и дело мелькает искажённое, почерневшее от древности лицо

Вечного Жида, Агасфера: именно здесь две тысячи лет назад у него вырвались слова, обрекшие его на вечные скитания: «Иди на смерть!» Они всё ещё летают под перекрытием, ищут путь к небу – и не находят. (*«Я-то пойду, – ответил, по преданию, Спаситель, – а вот ты не умрёшь, пока я не вернусь».*)

Хочется поскорее выбраться на открытое место, чтобы отдышаться и с высоты увидеть дальние холмы, ползущую навверх дорогу и весь город – азиатский, ощетинившийся, бескомпромиссный, покрытый могилами и минаретами, начинённый болью, племенными и религиозными претензиями и предрассудками. Опалённый солнцем, многократно разрушенный и отстроенный заново, для каждого он становится концом пути – и началом нового, на котором уже не избавиться от памяти о нём.

А потом можно вернуться назад, в Храм, и на этот раз с порога увидеть розоватую каменную плиту, на которую было положено Его тело... И согнуть колени, дотронуться и убедиться, что она до сих пор мокрая от слёз! И если станет на то Божьей милости, добавить свои к тем, что были пролиты на этом месте за двадцать веков... У этого камня – вечная Страстная пятница, вечные сумерки потери, от которых исцеляет лишь Пасха Христова: до неё – всего несколько шагов на восток, в направлении Кувуклии, где зримо сидит на отваленном камне Ангел, вестник Воскресения.

С этой вестью, словно с Благодатным огнём в фонаре грудной клетки, я возвращаюсь в Россию... Отныне при чтении Евангелия перед моим мысленным взором будут оживать не детские глянцевые картинки, а треснувшее скальное тело Голгофы, ужасные каменные оковы для ног приговорённых к смерти, покрытые пучками высохшей травы камни городской стены и узкая кишасящая людьми улица, политая потом и кровью Сына Божия... Я увижу чёрные свечи кипарисов и высокие небеса, исчерченные следами ангельских крыл. И с новым чувством причастности стану повторять про себя рождённые здесь в начале времён слова:

*Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя!*

## Валаам

Погружаться в русскую историю – значит всё время опаздывать. Как нерадивый дознаватель, я по ходу следствия терял свидетелей одного за другим. Они продолжали умирать уже на моей взрослой памяти: Молотов и Керенский, Шульгин и В. К. Владимир Кириллович... Злая воля и ковши экскаваторов год за годом уничтожали исторические здания: пока я был школьником, Ипатьевский дом ещё стоял на Вознесенском проспекте, а когда созрел для паломничества – на его месте зияла дыра... Да и за последние годы сколько всего утрачено безвозвратно: целые улицы стёрты почти на моих глазах ненасытными лужковскими терминаторами.

На Валаам я опоздал на столетие. Всё, что можно прочитать о нём, восторженное, благоуханное – развеялось над Ладогой, перебралось в пожелтевшие письма, эмигрировало в Финляндию, было истреблено чекистами и коммунистами и расхищено их наследниками-демократами. В итоге я уже не знал, что увижу на архипелаге, но точно знал, чего не увижу: того, о чём читал.

Не только процветающий Валаам XIX века, но и литературный Валаам начала XX века стал преданием. С тех пор, когда писали Шмелёв и Зайцев, сотряслось само каменное основание сего Северного Афона. Да, Валаам и раньше подвергался разорениям; но всегда сохранялся ресурс русской святости – народное тело, которое восполняло потери и рекрутировало новых подвижников, готовых восстановить разрушенное на уцелевшем фундаменте живой духовной традиции.

А теперь – куда подевался народ православный? Святая Русь переместилась за пределы географии: теперь она там, где хвалят Бога новомученики российские, где они невидимо молятся за изувеченных, духовно оскорблённых людей, неспособных более составлять «народ».

*«Впервые источником разрушения обители стали не войны противоборствующих держав, а разорение собственного гнезда, самоопустошение и самоистребление...» – игумен Андроник Трубочёв.*

Валаам не просто изведаль запустение и осквернение, – ему, кажется, и пополняться-то неоткуда. И братия, и мы, грешные паломники и богомольцы – лишь калеки, уцелевшие или народившиеся последыши истреблённого народа России. Мы так слабосильны, завистливы, ленивы, малодушны, – **я** слабосилен, завистлив, ленив, малодушен...

И всё же...

И всё же в обшарпанных стенах, среди нищеты, уродства, нерадения – начинается, кажется, сквозить то, что сильнее моего отчаяния.

Нашлись же охотники вновь поселиться в глуши этого промёрзлого края, отстроить на *луде* срубы, расчистить дороги, возделывать уцелевшие, измученные сады, и даже разбить у скитских стен непредставимый в метельном феврале виноградник! Спокойные, несуетливые люди начали заниматься хозяйственными делами – и забрезжил в призрачном северном воздухе долгожданный национальный «позитив».

А люди – разные, отовсюду. Молчаливый смотритель говорливого птичника, в прошлой жизни – филолог, обученный лишь бесполезным в тундре премудростям, но поставленный на тягостное и зловонное послушание – и вот авторитетно рассуждающий о яйценоскости и куриных болезнях... Хитроумный македонец, отец Мефодий, изо всех сил изображающий простодушие, но, очевидно, искушённый дипломат и знаток человеческих душ. Или ещё один иноземец, едва ли не главная достопримечательность Валаама: отец Серафим, православный француз из Британии, светлый и болезненный игумен скита Всех Святых... Он и персты для благословения не складывает, а лишь сближает и едва обозначает крест в голубом от мороза воздухе... Но почему-то понимаешь уверенно, что в знамении этом – сила и правда. А сам

он – тихий, мерцающий источник несказанной мощи; почти беззвучный, почти прозрачный, из слабого голоса и бледной улыбки сотканный образ Того, Кто вращает миры и насыляет ветер.

Мы побывали в его скиту днём, но получили благословение вернуться ночью, на знаменитую всеношную службу, о которой рассказывают легенды...

Но прежде нас ожидала грандиозная трапеза, задаваемая от имени настоятеля тем самым отцом Мефодием, несущим послушание «гостинника». Его обязанности предполагают непрерывную череду угощений и винопития, а также умение с каждым говорить на его языке, сообразно с его умственными способностями и уровнем духовного развития. Кроме необыкновенно вкусных яств нам были предложены в ироничном чередовании благочестивые монастырские предания, курьёзы из жизни сильных мира сего, зачистивших в обитель в последние годы, анекдоты на всевозможные темы и цветастые, полные балканского красноречия и самоуничижения тосты нашего хозяина, тем не менее оставлявшие ощущение, что нас видят насквозь.

Выделенный нам вместе со стареньким уазиком немолодой послушник, знавший, что ему предстоит везти нас ко всеношной, лишь судорожно вздыхал, глядя, как нам подливают вина и водки. Не так, по его мнению, подобало готовиться к монастырскому богослужению. Разумеется, он был прав. Но он пытался всеми силами христианской души обуздать своё раздражение и, главное, смолчать.

Наконец, мы вывалились, пошатываясь от выпитого и съеденного, на мороз, слышно щёлкающий в воздухе пальцами, кое-как утрамбовались в промёрзшей машине и, трезвее от стужи, покатали по лесной дороге к скиту Всех Святых. Наш водитель продолжал время от времени вздыхать от нашей болтовни и общего хмельного непотребства.

А дорога была – небывалая... Стеной стоял по бокам колеи неподвижный таёжный лес, наши фары скользили и подпрыгивали по девственно-чистым сугробам, по слоистым камням, покрытым мхом, инеем и снегом. Мы замолчали, проникаясь зовом и тайной этих мест, и лишь беззвучно выдыхали в темноту скрипящей всеми швами машины последние пары пьянства и самоуверенности.

Подпрыгивая на ледяных рёбрах дороги, наша перегруженная кибитка по длинной дуге обогнула стену скита и затормозила, скользя, у ворот с покосившимся крестом. По одному, низко сгибаясь, мы вылезали к этим затворённым воротам, протискивались в приоткрытую калитку... Внутри ограды было просторно... пусто... морозно... темно, не видать ни земли, ни неба; лишь необъяснимо светился изнутри белый камень стен. В храм мы заходили наощупь, стараясь не шуметь: служба уже шла, мы опоздали.

Эта служба... Затерянный в карельской глухомани скит, ободранный климатом и злой рукой храм, ночь без огней; сырой холод снаружи, печное тепло внутри... Пока глаза привыкали к полумраку, сквозь неподвижный воздух и зимнее беззвучие проник в меня – *голос*, священный и тусклый, как золото древних образцов. Голос этот скорее угадывался, чем раздавался: на нижнем пороге слышимости пульсировал, задевая что-то внутри... Беспрепятственно раздвинул он створки души и ткани тела, растворяя корку наросшей духовной грязи, и через минуту зазвучал во мне сам, словно без внешнего участия.

Всё это и сейчас со мной: оранжевый жар за печной дверцей; несколько лампад, по пальцам пересчитать, и тихий треск самодельных восковых свечей; мерцающая золотая рака с мощами преподобного отца, когда-то возносившего здесь молитву; черноволосый молодой монах, вполголоса читающий – то по-славянски, то по-гречески; и иногда – возглас из алтаря, как дуновение сквозняка из щели в материи мира, как проступившее на стекле дыхание Того, Кто дышит, где хочет...

Всё происходит очень медленно, как во сне. Слова рождаются где-то наверху и падают одно за другим, каждое следующее – не раньше, чем впиталось в пересохшую душу предыдущее. И глаза переполняются так же, не поднять головы: капает на каменный пол роса камен-

ного сердца. У моих ног лужица растаявшего снега с ботинок смешно прирастает текущими из меня, как из разбитого кувшина, бесконечными слёзами; а на подсвечнике наперегонки со мной плачет, слабо освещая мои трясущиеся руки, неровная валаамская свеча...

Если таково – Всенощное, то что же тогда я отбывал, как повинность, раньше, в других храмах, в других городах? Я как будто *впервые* вхожу полноценным участником в православную службу – придающую смысл мирозданию, сотрясающую душу...

Но тут до меня доходит настойчивый – и, видимо, уже не первый – зов нашего водителя: глубокая ночь, пора возвращаться в гостиницу. Передвигая чугунные ноги, словно вернувшись в тело из дальнего странствия, я, оглядываясь, крестясь и плача, выхожу на двор. И, почти не удивляясь, вижу, как над скитом, дрожа и завиваясь, помахивает ангельским оперением северное сияние...

Теперь я знаю: монастырь – это не только образцовое хозяйство, не воскресная школа для власть предержащих, не хранилище знаний, хотя, конечно, и всё перечисленное тоже... Но, в первую очередь, это *живое* свидетельство того, что Бог нас слышит, что обетования Его – непреложны; что сегодня Он точно так же животворит Своих избранных, как во времена апостолов. И нас, приходящих, приезжающих, стремящихся сюда бесчувственных, контуженных ущербным существованием искателей прощения – Он до краёв наполняет подлинной жизнью и таким счастьем, о котором можно лишь благодарно и целомудренно *молчать*...

## Крыша

До поры до времени мой сын был просто идеальным ребёнком: послушным, осматривательным, разборчивым в общении со сверстниками. Но наступил чёрный день, когда его мужское начало заявило о себе желанием попробовать окружающий мир на прочность.

Я узнал об этом благодаря коменданту дома: взволнованная дама, шумно дыша в трубку телефона, сообщила мне, что «детей видели на крыше». Мне не пришлось повторять дважды: перепрыгивая через ступеньки, я взлетел на восьмой этаж и обнаружил, что сетчатая железная дверь, преграждавшая путь на чердак, гостеприимно приоткрыта. Как это могло случиться? Техник не запер или сами хитроумные подростки вскрыли – сейчас было не так важно; время разборок и наказаний ещё не пришло, надо было торопиться со спасательной операцией.

Хотя я уже несколько лет жил в этом доме, бывать на крыше мне до сего дня не доводилось. Но я смутно представлял себе, что она – плоская, с торчащими телевизионными антеннами и непонятными прямоугольными сооружениями, которые не могли же быть каминными трубами, коль скоро в типовой застройке тех лет каминов уже и ещё не имелось? Самое главное – наша кровля не была кошмарной жестяной горкой с покатыми склонами, по которым непоправимо скользят подошвы детских ботинок... Это успокаивало, но не слишком.

Стараясь не касаться липковатых стен, я поднялся по сварной лесенке к невысокой железной дверце, нажал на грязный металлический рычаг и с отвратительным скрежетом приоткрыл лаз, похожий на корабельную переборку. Мне в лицо влажно пахло улицей и нежилым строительным запахом. Высоко подняв ногу и одновременно пригнув голову, так и ждавшую удара о низкий железный косяк, я кое-как выбрался наружу.

Мы, горожане, плохо знаем закоулки нашего мира. Они не похожи на надоевшие картины, день за днём сопровождающие наш путь на работу, в магазин и ещё по нескольким привычным адресам. Стоит заблудиться или в сумерках очутиться на стройплощадке, за условным забором, чтобы убедиться, что нарисованные очаги наших каморок скрывают от нас чудовищ мегаполиса: тусклые скрипучие фонари, непонятные заброшенные строения, железные конструкции, какие-то цистерны, мотки проволоки, катушки кабеля, больных голодных псов... И это – на земле! Лучше даже не задумываться, что таится под ней или над ней, в мире крыш и слабо жужжащих проводов.

Но я вынужденно ступил в этот мир, и, как ни озабочен был поисками своего наследника, всё же не мог не почувствовать себя хотя бы на минуту подростком, вторгшимся на запретную территорию.

Было довольно тихо; многоголосый шум города долетал сюда словно издалека. К тому же наступило обманчивое время суток, когда ещё светло, но солнце уже скрылось и тени погасли. И то, что я увидел, легче всего было считать именно миражом.

В десятке метров от меня, бледно светясь в сумерках, обозначились две необъяснимо-неподвижные фигуры. Четыре светло-голубых глаза не мигая смотрели прямо на меня.

Я был нацелен на поиск детей, и вовсе не ожидал встретить на крыше посторонних. Но чем больше я приглядывался, тем больше изумлялся. Во-первых, эти двое глядели на меня сверху вниз: если принимать во внимание мой немаленький рост, они были ощутимо выше, никак не меньше двух метров! Во-вторых, я почему-то не мог толком разглядеть их лиц, только глаза плавали внутри светлых овалов, словно серебристые рыбки в аквариуме... Ну, и в-третьих... у них были крылья.

Ну, не то что крылья... просто за плечами каждого вырастали как бы ещё одни плечи, и больше всего это напоминало крылатых персонажей старой европейской живописи. Только они не были ни златокудрыми красавцами с глазами навывкате, ни бело-розовыми юношами в парчовых одеяниях. Просто на крыше моего дома стояли и молча взирали на меня два суще-

ства, которых сложно было принять за обитателей нашего мира – установщиков антенн, рабочих-ремонтников, членов компетентной комиссии... Я набрался храбрости и попытался сделать шаг...

Тогда один из них, тот, что стоял ближе ко мне, властным предостерегающим жестом поднял руку, я увидел светлую ладонь с длинными пальцами – и замер на месте. В ту же минуту другой, словно забыв обо мне, отвернулся и сосредоточился на чём-то, чего с моего места было не видно. В особенной прозрачной тишине я услышал, словно приближенные к моему уху, возбуждённые озорством детские голоса.

Я догадался, что эти двое были здесь затем же, зачем и я: они приглядывали за детьми! В замешательстве я смотрел на поверхность лужи, оставшейся на липком чёрном покрытии крыши после недавнего дождя: в полном, совершенном безветрии вечера по воде бежала частая рябь, какую я видел в репортажах под лопастями садящегося на воду вертолётa. Центром этой ряби были две пары ног в плоских туфлях без каблуков, и от прикосновения их подошв дрожь бежала по поверхности лужи – и передавалась мне.

Голоса детей приближались. Их хранители посмотрели друг на друга, затем – на меня. Почти не различая их лиц, я каким-то образом догадался, что они улыбаются. И тень воспоминания об этой улыбке, которой я не видел, теперь преследует меня в каждом солнечном зайчике, в каждом весёлом блике на воде... Я напрягал зрение, пытаюсь разглядеть тех, кого не надеялся больше увидеть... но внезапно за их спинами поднялись отвесно вверх четыре веерообразных луча, таких ярких, что я опустил голову и зажмурился... Но тут же, боясь пропустить невиданное зрелище, разлепил веки – и увидел пустую крышу, сгустившуюся темноту, и лишь по блестящей чешуе лужи бежала рябь от несуществующего вертолётa, который уже улетел.

В ту же минуту из-за нелепого прямоугольного сооружения неизвестного назначения высыпала ватага детей с лихорадочно горящими в сумерках глазами, и среди них мой сын – единственный, кто, наткнувшись на меня, замер, как кролик при виде удава... И, должно быть, весьма удивился, обнаружив, что папа лишился обычного красноречия и даже не способен многозначительно пригрозить взглядом, сулящим недоброе маленькому первооткрывателю чердаков и крыш.

Я поспешно отвернулся и первым шагнул в темноту дома; не оглядываясь, чтобы не смотреть в лица детей, спустился по ступенькам, отпер квартиру и спрятался в своей комнате, захлопнув дверь прямо перед носом провинившегося ребёнка. Я не в состоянии был играть роль строгого отца: розовыми волнами запоздалой эйфории по мне прокатывались радость, благодарность, смятение... Но громче всего во мне пела дерзкая надежда, что когда-нибудь и меня, быть может, удержат от опрометчивого шага с крыши светлые ладони с длинными пальцами – ладони крылатых рук, от начала времён не совершавших зла.

## Несносный

*Каждый сам за себя, один Бог – за всех.*  
*поговорка*

После благополучного окончания долгих и мучительных родов акушерка сделала попытку показать новоиспечённой мамочке её лиловое дитяtko; но утомлённая, наоравшаяся женщина только поморщилась и отвернула голову на мокрой подушке, вяло махнув рукой: потом, потом... Кажется, именно этот пренебрежительный жест определил всю дальнейшую жизнь младенца – вечного неудачника и изгоя, чьё появление на свет не доставило радости даже родной матери.

На самом краю месяца, отведённого на государственную регистрацию, новорождённого мальчонку записали в метрике Иннокентием – в выборе имени угадывалась тайная неприязнь родителей к своему чаду. До его зачатия они скудно и невесело прожили полтора года в пропахшей капустой коммуналке, и прибавление семейства восприняли как очередную неприятность, усугубившую тяготы быта. Отец был молчаливым и бесперспективным инженером, который в покрытых коричневой копотью, продуваемых сквозняком цехах сочленял громоздкие детали отставших от века станков; мать занималась какой-то однообразной документацией в бухгалтерии, была типичной мелкой советской служащей, в свои двадцать шесть почти вовсе лишённой привлекательности и блеска глаз. Они познакомились случайно, и случайно оказались в одной кровати, под кусачим одеялом – причём он во всё время неловкого скрипучего совокупления оставался в носках и майке, а она – в скользкой розовой рубашке с кружевами по нижнему краю, тонкие лямки которой нещадно врезались в плечи.

Удивительно, что Иннокентий не явился немедленной расплатой за несанкционированное соитие членов профсоюза – но он, похоже, не торопился на свет, и они успели пять раз сходить в кино, дважды – в кафе-стекляшку, потом тихо зарегистрировались в ЗАГСе, познакомили родителей и уехали в Сочи, где, обдаваемые брызгами вечного моря, мёрзли на пустой апрельской набережной и согревались местным портвейном и объятиями, и солёными поцелуями с привкусом напрасно загубленного винограда.

Но пришлось возвращаться в Москву, в прежнюю жизнь, сделанную из монотонного частотола будних дней с нечаянными прорехами непонятных казённых праздников, вроде Дня конституции или солидарности трудящихся – ну, что тут праздновать? с чем друг друга поздравлять? Они пытались свить гнездо в той самой коммуналке, повесили тюлевые шторы, купили набор кастрюль и похожий на лакированный гроб телевизор, и каждый вечер слушали, лёжа с потушенным светом, скучную ругань за тонкой стеной, прижимаясь друг ко другу и потихоньку отдаляясь, словно безвольные щепки на речной ряби, не имеющие воли и плавников.

Тут-то и завелась внутри их «ячейки» новая жизнь. Они для верности подождали, и только на исходе третьего месяца порадовали своих стариков, получили поздравления, и охи-ахи, и полезные советы, и даже парочку не совсем приличных шуток – и вот бухгалтерша стала посещать женскую консультацию и внимать там бесконечным страшилкам рожавших баб, а инженер предпринял попытку добиться прибавки жалования, выслушал политически грамотную лекцию о непростом моменте, переживаемом страной в решающий год пятилетки, вздохнул и вернулся в свою социальную клетку в прежнем статусе человека без будущего.

Честно говоря, нет ни сил, ни желания дальше возиться с их лишённой красок жизнью; уж лучше сосредоточимся на Кеше, который так и остался единственным ребёнком, единственным червивым яблоком на худосочном дереве добра и зла. Да и тут жульнически пропустим пару десятилетий; минуем, не снижая скорости, полустанки школьных лет (поскольку нет

желающих сойти и осмотреться), только зальёмся, как слезами, раскатистым воплем гудка, так что шарахнутся в стороны будки путевых обходчиц и опустевшие, слепые коробки вагонных депо...

И вот мы приехали: исполинская лестница какого-то технического вуза, прыщавый Кеша поднимается на второй этаж, похлопывая рукой по выгнутой спинке широких перил, а сверху спускается небесное создание по имени Вера, шелестя юбкой, излучая беспричинную радость, пристукивая на каждом шаге каблуками в ритме музыки, слышимой ей одной. Кеша похлопывает, Вера – постукивает; их индивидуальные ритмы неожиданно синхронизируются и входят в резонанс...

А на дворе-то – конец семидесятых, и для радости, говоря по правде, не так уж много поводов. Голодно, скучно, страшновато жить в нищей, выпавшей из потока времени, разорённой гонкой вооружений стране. Не станешь же завтракать боеголовками, ужинать речами – а больше нет ничего; из магазинов если и выносят съедобное, то сзади, а не спереди; книжки достаются тем же, кому и деликатесы (вроде шпрот и «сухой колбасы», вот ведь аппетитное наименование!), и те же самые граждане, полистав Булгакова, отведав шпрот, закусив армянский коньяк лимончиком, отправляются на «закрытый показ» какого-нибудь неслыханного фильма – тогда как Кеша с Верой, не зная других видов досуга, шляются по улицам или, накопив несметные богатства – три рубля на двоих – сидят в «кафе-мороженое» и молчат.

Вера была непростой девушкой: её папаша носил вызывающую бороду и большой латунный крест на груди; он ходил на работу в здание с золотыми куполами, и туда же каждую субботу, вечером, ходила Вера, и что-то такое делала там, далёкое от советской инженерии, зато близкое женскому сердцу. А по воскресеньям она освобождалась не раньше полудня, и бывала странной, сияющей и молчаливой, и когда Кеша пытался приобнять её одной рукой – тихонько отодвигалась, предварительно погладив его жадную лапу кончиками пальцев, чтоб не обижался.

Кеша всё никак не мог придумать, как относиться к странному миру своей девушки, миру, где ему нечего было делать. Примеряя на себя чужую жизнь, как пальто с чужого плеча, он разок зашёл, предварительно воровато оглянувшись, в круглый жёлтый храм недалеко от Третьяковки – но показалось ему всё внутри подозрительным, и неловкость он испытывал мучительную, заставлявшую краснеть... И когда тётушка, считавшая оранжевые свечи, вполне миролюбиво спросила его:

– Тебе чего, сынок? – Кеша буркнул что-то невнятное и пустился наутёк, словно его застали за неприличным.

Однажды о нетипичном происхождении и своеобразном досуге Веры заговорили в прыщавой стайке Кешиных одноклассников – и вдруг он, точно со стороны, услышал свой голос, произносивший гадости и глупости, до такой степени чрезмерные, что даже бестрепетные пацаны замолчали, разинув рот. Но чем шире разливалась в Кешиней груди тошнота, тем разнужданнее он выбалтывал вещи, о которых узнал благодаря простодушию и доверчивости своей подруги.

Никаких особых лавров он своим подвигом не стяжал. Как ни странно, приятели начали его сторониться, точно брезгуя; определённые представления о порядочности были в ходу даже у самых отвязных пошляков. А сам он больше всего боялся встречи с Верой, которую понапрасну вывел нагой на торг и даже барыша получить не сумел.

Так студент Иннокентий обзавёлся невидимой меткой изгоя, но не стал искать обратной дороги в мир людей, только втянул стриженую голову в плечи и опрометчиво произнёс про себя непоправимое: «НУ И ЛАДНО...» Отныне он не пытался флиртовать с девицами, которые казались гораздо скучнее и уродливее Веры – зато с мрачноватым упорством зубрил разные технические дисциплины и неожиданно выбился в отличники, и в качестве награды получил

распределение, о каком многие мечтали – его взяли на телевидение, надзирать за железками, которые одни лишь его не сторонились.

Среди сослуживцев, инженеров ТЖК (тех, которые выезжают на съёмки с камерой, штативом и прочим техническим скарбом), он особой популярностью не пользовался. Никто не звал его вместе обедать, никто не спешил делиться с ним премудростями и маленькими хитростями ремесла. Пару раз он попытался встрять в разговоры о спорте и бабах, но неудачно – его реплики повисали, вызывая лишь недоумение. Тогда он повторил своё «ну и ладно» и окончательно прописался в социальном чулане, куда месяцами никто не заглядывает.

Девяностые годы начались для Иннокентия командировкой, о какой многие могли только мечтать: его вместе с обычным набором железа (камера-штатив-свет-монитор) отправили на развесёлый актёрский фестиваль в Тольятти. Увешанный кофрами и чемоданами, он присоединился на перроне вокзала к хохочущей компании молодых телевизионщиков; сгрузил свою ношу на заплёванный асфальт, мужичкам пожал руки, двум девицам разбитного вида кивнул (и тут же отвернулся). Командовал группой рыжебородый наглец в тонких металлических очках, одетый как картинка: в свитерке, джинсах и ослепительно-белых кроссовках – точно сейчас с полки заграничного магазина. Держа американскую сигарету между двух слегка дрожащих пальцев, он зубоскалил с оператором и администратором, свободной рукой по-хозяйски поглаживал попки девок и явно был весьма доволен самим собой. Совершенно особые, неформальные отношения были у него со вторым человеком в группе, долговязым брюнетом с копной растрёпанных волос: между ними искрила такая уютная, почти родственная перебранка, точно у щенков одного помёта, которые возятся в коробке и покусывают друг друга за уши. Взаимно адресуясь по имени-отчеству и на «вы», притворно-почтительно, они не скрывали, что хорошо знают друг друга, и код общения, состоящий из непонятных другим шуток, условных словечек, ссылок на общих друзей, – принадлежал только им двоим.

Кеша дал бы отсечь себе правую руку, чтобы только иметь надежду быть однажды допущенным в круг этих лёгких и самоуверенных людей. Он бессознательно старался держаться как можно ближе к двоим приятелям, чем безмерно их раздражал – но роковым для себя образом этого не чувствовал.

Мужики распихали громоздкий телевизионный багаж по двум купе, разлили коньяк в эмалированные кружки; девки проворно и привычно нарежали дольками лимон. Выпили. Тронулись.

Группа сбилась в громкую и довольно развязную компашку в одном купе; а Кеше не хватило места (поскольку он дольше всех провозился с чемоданами и кофрами, поудобнее устраивая их под сиденьями). Он немного постоял в открытых дверях, с готовностью улыбаясь чужим шуткам. Но на него никто не обращал внимания. Тогда он отправился спать в совершенно необитаемое второе купе, где ветер шевелил сероватые занавески и пахло чужим, давно выпитым пивом.

Проснулся он далеко от Москвы – словно от холодного прикосновения. Поднял с неудобной колючей подушки растрёпанную голову, сфокусировал мутный спросонья взгляд. В открытой двери купе стоял рыжий предводитель и с прищуром смотрел на лежащего навзничь Иннокентия. В спёртом, пропахшем немойтой человечинной воздухе стучалось непонятное насмешливое молчание.

– Ну, ты как? – произнёс наконец рыжий, любезно, но со стальным блеском в щёлках глаз за прямоугольными стёклами очков.

– Нормально, – поперхнувшись, не своим голосом выговорил Кеша.

– Ну и хорошо, – подытожил гость и скрылся мгновенно, как по волшебству. За тонкой стенкой тут же загудели голоса и послышался нетрезвый женский смех.

Иннокентий сходил умылся, промокнул лицо тонким вафельным полотенцем с расплывшимся чёрным штампом казённой принадлежности. Когда он вернулся к своему лежищу,

на нижней полке сидел немолодой, старше их всех, оператор с симпатичной плешивой макушкой, и сквозь очки разглядывал фотографии в газете. Он приветливо кивнул Кеше и поинтересовался:

– Где это мы едем? – явно не ради бесполезной информации, а чтобы установить контакт. Кеша пожал плечами. Ну не умел он болтать ни о чём! А зря.

В пункт назначения прибывали рано утром. С недосыпу, а может – от выпитого накануне коньяка, рыжий был нервным, свою дорогую сигарету курил без удовольствия, распоряжался без обычного зубоскальства. Глазки за стёклами очков были припухшими и часто моргали, но надетая на тощий торс футболка с нерусской надписью была необъяснимо-свежей, и даже, кажется, глаженной. И по-прежнему сияли девственной белизной спортивные тапочки с цветными шнурками.

Кеша, как положено инженеру, нагрузился неподъёмным съёмочным багажом. Долговязый, с артистически спутанными волосами приятель рыжего с готовностью повесил на плечо кроме собственной сумки металлический ящик с монитором. Девушки в плане участия в разгрузке были бесполезны – они с трудом ворочали собственные чемоданы на колёсах. К счастью, сразу за оградой перрона их поджидал автобус, который, покачиваясь с тяжкими стонами на ухабах, доставил их на турбазу, где группе предстояло жить и работать целую неделю.

Размещаться предстояло по двое-трое в отдельный домик. Рыжий и его приятель первыми выбрали себе домик, удалой и громкий администратор Саша напросился к ним третьим; остальные тоже кой-как разобрались. Кеше выпадало жить с оператором, и это соседство было, вероятно, наилучшим из возможных: смирный и выдавший виды мастер объектива не так разительно от него отличался, да и драгоценное железо было всецело доверено попечению их четырёх рук.

Распределив по шкафам и закоулкам свою амуницию, Кеша сел у окна и развернул на коленях провизию, к которой, стесняясь, не притронулся в поезде. Оператор Олег покосился на него, но ничего не сказал и ушёл осматривать окрестности: совсем рядом мощно и полноводно выгибала спину великая русская река.

В этой поездке Кеша вообще много и неопрятно ел, пока другие заводили звёздные знакомства, таскались по гостям и бесконечно пили. Видно, пролежавшая сутки в тепле провизия не пошла ему впрок: он подолгу сидел в сортире, вынуждая сожителя искать удовлетворения естественных нужд на стороне.

– Он целыми днями только *жрёт и гадит, жрёт и гадит!* – жаловался Олег под хохот обитателей соседнего домика, когда забежал к ним пописать. Невидимая ледяная полоса отчуждения между Кешей и остальными час от часу расширялась. Катастрофа разразилась накануне отъезда.

Это был редкий вечер, когда группа собралась вся вместе, у рыжего, в «штабной избе». Был и Кеша, живот которого наконец утих, и галльон, вволю натешившись, отпустил его обратно в мир людей. Среди всеобщего благодушия обсуждалось происхождение едва заметного пятнышка на пресловутых белых кроссовках хозяина.

– Всё-таки не уберегли-с! – поддразнивал его длинноволосый, качаясь на своём стуле. – Даже ваша безупречность не выдержала ежедневных возлияний!

– Ну, да! – вдруг подал голос Кеша. – Видно, блеванул спьяну!

Повисло ужасное молчание. Все повернулись и смотрели на него, и ни в одном взгляде не было сочувствия, только брезгливое удивление и насмешка.

Рыжий тоже смотрел, и взгляд его был непонятен: он вроде бы улыбался, то ли по инерции, то ли предвкушая эффект от следующих слов.

– Пошёл вон, – вдруг совершенно спокойно и холодно проговорил он.

Кеша заёрзал под взглядом серых глаз за стёклами очков.

– Ты не обижайся... – начал было он, но извиниться ему не дали.

– Мне не пять лет, чтобы обижаться, – немного повысив голос, перебил его рыжий. – Просто: *пошёл вон*.

В перекрестье взглядов Кеша поднялся, не чуя ног сделал несколько шагов к двери, поборолся с заедавшим замком и вывалился наружу, в сырые сумерки: как собака, они лизнули его пылавшее лицо влажным языком прохлады с запахом речной воды. Привидением он прошёл на виду у сидевших внутри, в тёплом свете абажура, пересёк разделённый на квадраты экран окна – сперва одного, потом другого – и пропал в синеве вечера.

За следующие сутки сборов и прощаний и потом, за сутки дороги, его спутники сказали ему от силы несколько слов. Он тенью шатался между ними; пыхтя, таскал в автобус и в вагон неподъёмное оборудование, и в Москве в одиночку грузил его в студийный рафик – непрощённый, изгнанный за райскую ограду. Даже безмозглые девицы, всю дорогу лопотавшие вздор, теперь стояли неизмеримо выше него на социальной лестнице: они были – *свои*, а он – чужой, *несносный*. Это слово как раз произнесла одна из них, в самом начале, в день приезда, когда всё ещё казалось радужным, сулящим невиданные утехи. В суете разгрузки, навешивая на плечи сумку за сумкой, он нечаянно наступил ей, зазевавшейся, на босую ногу. Она покачнулась, охнула, и, потирая отдаленную лапу, в сердцах бросила:

– До чего же ты *несносный*!

И теперь это колоритное слово, точно клеймо, горело на его лбу и гнало прочь, в берлогу: околевать.

Несколько дней отгулов, положенных после командировки, Кеша провёл как в бреду: что-то ел, с кем-то говорил по телефону. В обрывочных сновидениях он бродил по пустырям, терял ориентиры в незнакомых городах, сплошь сделанных из серых кубов и оклеенных бумажной ветошью заборов. Когда он просыпался на перекрученной простыне, под сбившимся в пододеяльнике старым одеялом, он подолгу разглядывал потолок с едва заметной трещиной между плитами перекрытия, но не находил там ответа на вопрос: чем уж он такой *несносный*? чем так очевидно для всех отличается от обычных людей, которым все рады?

Наконец его вызвали на работу, и он с облегчением упаковался в серые брюки и полосатую рубашку, нашёл пару сравнительно чистых носков, почистил ботинки и отправился в Останкино.

– Чего снимаем? – поинтересовался он у знакомого оператора, который в ожидании корреспондента пялился в телевизор в комнате ТЖК.

Тот пожал плечами, не удостоив его ответом. *Несносный*.

Кеша собрал в кучку мотки кабеля, проверил наличие запасных лампочек и батареек, присоединил аккумулятор к поцарапанной камере, а два других пихнул в сумку. Вскоре явилась крашенная блондиночка в туфлях на каблуках, быстро-быстро жевавшая резинку и так же часто хлопавшая ресницами. Она склонилась над оператором, который фамильярно сказал ей какую-то сальность, а Кеше просто кивнула: едем.

Тесно прижатые друг ко другу, они тряслись на заднем сиденье немой «четвёрки», стояли в пробках, потом опять, качнувшись, пробирались по московским переулкам. Кеша без интереса смотрел в запотевшее окно: видимо, оператор успел перед выездом *махнуть* для вдохновения. Заскрипели тормозами, встали на задворках жилого дома. Девица пошла выяснять.

Хотелось размять затёкшие ноги: Кеша полез из машины. Так вот куда они приехали! – чуть в глубине, скрытый листвой могучих старых лип, светился красными стенами и золотыми маковками кудрявый храм. Оператор, не теряя времени, уже копался в камерном кофре.

Корреспондентка вернулась с молодым чернявым батюшкой, который слегка стеснялся камеры, успевшей утвердиться на штативе и хищно озирающейся окрест. Они немного поговорили с оператором и условились снимать на улице, перед храмом. В два приёма перетащили

железо во двор церкви; Кеша получше закрепил камеру, проверил звук и спросил, нужен ли накамерный свет. Оператор раздражённо отмахнулся:

– Иди, я сам...

«Вечно я всем мешаю», – подумал неприкаянный Кеша, и бездумно побрёл, по дуге огибая алтарную апсиду. Вход был с противоположной стороны, как раз напротив прорехи в домах: там поминутно мелькали пролетающие по проспекту машины. На скамейке старухи в платках трепались, но разом замолчали при его появлении. Чтобы скрыться от их прищуренных взглядов, вообще – чтобы поскорее скрыться от всех, Иннокентий толкнул высокую дверь и вошёл.

Внутри было пусто и темно, пахло ладаном и краской. Двое бородатых мужиков, придерживая исполинскую, с расставленными ногами лестницу в форме буквы «А», задрав головы, изучали что-то наверху и тихо совещались. Молодая женщина за свечным ящиком, чем-то неуловимо похожая на Веру, на мгновение подняла голову и посмотрела на вошедшего, но тут же склонилась и продолжила своё занятие – то ли раскладывала, то ли пересчитывала... Кеша двинулся дальше, глаза по сторонам.

Больше всего свечек горело на круглом подсвечнике перед громадным образом в отдельном киоте, укрепленном на возвышении перед иконостасом. На полу, в полукруге ступенек, ведущих к киоту, стоял кувшин с развесистым букетом белых цветов. Кеша подошёл ближе, будто его позвали. Поднялся по ступенькам, потрогал латунный поручень. Потом поднял глаза. Женщина с ребёнком на руках спокойно смотрела на него, словно чего-то ждала. Кеша не совсем понимал – чего.

– Знаешь, я совсем один, – неожиданно для себя сказал он.

– *Нет, не один*, – ответил Образ.

В этот момент один из мужиков стал с громким скрипом подниматься вверх по шаткой лестнице. Тотчас на колокольне снаружи ветер слегка шевельнул колокол, и он издал едва различимый звук, похожий на выдох из бронзовой груди.

Тогда Кеша прислонился лбом к толстому стеклу, хранившему отпечатки множества человеческих прикосновений, и, беззвучно шевеля губами, рассказал латунному поручню и круглому плетёному половнику про Веру и про своё напрасное предательство, про поездку в Тольятти, про надменных коллег и неуступчивых девиц, про свое скучное прошлое и беспросветное настоящее... Потом он ещё постоял с закрытыми глазами, жалея себя и припоминая, на забыл ли какой из обид. Нет, вроде ничего не осталось в жестяной коробочке души, которую так давно не открывали. Тогда, покачнувшись, он спустился с двух ступенек, вышел, не оглядываясь, на крыльцо храма и остановился, осматриваясь. И в это мгновение безразличный к нему город, низкое серое небо над крышами чужого жилья, перспектива возвращаться в Останкино в компании равнодушных коллег и даже собственная заурядная жизнь впервые за долгое время показали ему... как бы это сказать поточнее?... *сносными*.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.